



МУРЗИЛКА

АВГУСТ — СЕНТЯБРЬ

1944

№ 8-9

Журнал ЦК ВЛКСМ для школьников младших классов

ДВА ОТЛИЧНИКА

С. МАРШАК

Рис. В. ЛЕБЕДЕВА



Я весь в тебя пошёл, отец:
Отличники мы оба.
Ты — Красной Армии боец,
Моя война — учёба.

За «русский» у меня с тобой
Отличная отметка.
По-русски ты выходишь в бой
И бьёшь фашистов метко.

По арифметике в году
У нас не будет двойки.
Ты столько танков на ходу
Побил из бронебойки!

Мы в географии сильны,
Отметки высшей стоим.
Леса, поля в огне войны
Твой полк проходит с боем.

У нас обоих, как всегда,
В порядке дисциплина.
И не придётся от стыда
Тебе краснеть за сына.



XX 461
1

XLV-80

Кайт



НИКОЛАЙ ЧУКОВСКИЙ

Рис. П. АЛЯКРИНСКОГО

Рассказ о дружбе

1

Конечно, он не очень красив. Шерсть на нём свалялась, одно ухо торчит кверху, другое висит, и бегаёт он как-то боком, — следы задних ног сантиметра на два правее передних. Порода? Какая там порода! Ни о какой породе не может быть и речи. Вернее, пять-шесть собачьих пород вместе. Нет, он некрасив. И всё-таки не надо забывать, что с начала войны у него уже шестьдесят восемь боевых вылетов! Кайт летал только в качестве пассажира, но пассажиром он был образцовым.

Кайт вырос на аэродроме, среди самолётов, и привык к ним, как собака пастуха привыкает к коровам. Он несколько не боялся шума и грохота моторов и отлично умел обращаться с самолётами, — сторонился, когда они шли на посадку, чтобы не попасть под колёса, и знал, как стать при взлёте, чтобы его не сбил с ног ветер пропеллера.

На аэродроме было много автомашин, и он очень любил в них ездить. Когда летчики отправлялись на полутонотонке к своим самолётам, он бежал рядом и лаял до тех пор, пока его не подсаживали в кузов. Но больше всего на свете он любил ездить в эмке своего хозяина на охоту за вальдшнепами.

Предки Кайта, вероятно, нередко принимали участие в охоте, но ни одному из них не приходилось охотиться так, как Кайту. Мало кто знает, что такое охота на автомобиле. Но у нас на аэродроме этот род охоты был очень распространён.

Изобрёл его хозяин Кайта, капитан Кожич. Маленький, крепкий, узловатый, с чёрными глазами и чёрными франтовскими усиками, он становился на крыло эмки, держа пистолет «ТТ» в руке. Друг Кожича, инженер-капитан Морозов, садился за руль. Кайт садился рядом с Морозовым, и они неслись по огромному пустынному аэродрому, по высокой некошенной сентябрьской траве.

Не знаю, почему в ту осень было у нас столько вальдшнепов. Быть может, потому, что здесь, в прифронтовой полосе, за ними никто не охотился. Или потому, что несмолкаемый грохот

грандиозной битвы выгнал их из привычных лесов и полей и заставил переселиться сюда к нам, в ближайший тыл. Целыми табунами ходили они по траве, тяжёлые, разъевшиеся, ленивые.

Заметив вальдшнепов, Морозов гнал машину прямо к ним. Кайт подымал свое острое левое ухо. Капитан Кожич ленивым и небрежным движением руки подымал пистолет. В этой небрежности и заключался главный шик, — капитан Кожич был лучший стрелок в дивизии и гордился этим. Небрежно подымалась рука, щурился чёрный глаз, и раздавался отрывистый гулкий выстрел. Вальдшнепы неохотно взлетали и пёстрой стаей неслись над травой. Одна птица оставалась в траве. Морозов резко, со всего хода тормозил машину.

Тогда наступала очередь Кайта. Морозов открывал дверцу, и Кайт выскакивал. Вытянув хвост, большими прыжками мчался он к птице. В трёх-четырёх шагах от неё он внезапно останавливался, припав всем телом к земле. Он медленно подползал к ней на брюхе, словно она могла улететь. Потом бросок вперёд, и он осторожно схватывал её пастью, стараясь не потерять ни одного перышка.

С птицей в пасти мчался он назад к машине и ложился перед Кожичем в траву, махая поднятым хвостом и глядя ему в глаза. Это был хороший взгляд, полный не раболепия, а какого-то дружеского лукавства: мы, мол, с тобой приятели, и мне удовольствие оказать тебе услугу. Кожич нагибался, брал птицу и похлопывал Кайта по морде.

Кайт и Кожич были неразлучны. Если где-нибудь заметите вы Кайта с поднятым кверху мохнатым хвостом, значит сейчас же появится здесь и Кожич с насмешливым маленьким лицом, с чёрными усиками. Если Кожич посетит землянку своих техников или мотористов, значит сейчас же раздастся скрип когтей под дверью, и дверь откроется, и войдёт Кайт, поочерёдно обнюхивая ноги каждого. Если Кожич играет в шахматы, Кайт сидит тут же на полу и не сходит с места, как бы долго ни тянулась партия, и только громко постукивает хвостом по полу.

Уменье Кайта терпеливо ждать было удиви-

тельное, особенно если принять во внимание его необычайную подвижность и способность увлекаться всякими пустяками. Он мог целые дни напролёт гоняться за воробьями без всякой надежды поймать их. Заметив маленькую чёрную мышку, которых так много у нас на аэродроме, Кайт кидался к ней с такой стремительностью, что нередко перевёртывался через голову. Мышка, конечно, успевала юркнуть в нору, и Кайт долго рыл землю лапами и мордой, а потом бешовался и прыгал вокруг. Однако, когда Кайт ждал на старте улетевшего Кожича, он, казалось, становился другим существом. Ни один воробей, ни одна мышь в мире не могли отвлечь его внимания.

Когда Кожич в шлеме и очках и уже не похожий на обычного Кожича садился в свой самолёт, Кайт неизменно подходил к нему проститься. Передними лапами скрёб он колени Кожича, и Кожич похлопывал его по морде. Потом Кайт ложился в траву, крутились пропеллеры, трава дрожала от ветра, и самолёты мчались через весь аэродром к синему лесу и взлетали. И Кайт не спускал глаз с одного самолёта, — того самолёта, на котором был Кожич. По направлению морды Кайта всегда можно было узнать, где, в каком уголке неба находится еле видный самолёт Кожича.

Но вот самолёт уходил так далеко, что даже зоркие глаза Кайта не могли его разглядеть. Кайт продолжал лежать и ждать. Взлёты и посадки других самолётов не привлекали его внимания, — разве только на мгновение повернёт он к ним свою скучающую морду.

Проходили часы, солнце всё выше подыма-

лось по пустынному небу, становилось жарко, а он всё ждал. Техникам привозили на старт обед, они угощали Кайта, но он отказывался, — даже жирный флотский борщ не мог отвлечь его. Солнце ползло вниз, тени становились длинней, а он всё ждал. И вот, наконец, вдали, над зубчатыми вершинами леса, появлялись самолёты.

Кайт подымался, левое ухо вставало торчком. Он весь приготавливался к бегу. Самолёты в воздухе были неотличимы друг от друга даже для опытного глаза, но Кайт сразу узнавал самолёт Кожича по приметам, ему одному ведомым. И едва этот самолёт в дальнем конце аэродрома касался колёсами земли, Кайт срывался с места и мчался к нему навстречу. Потом бежал обратно рядом с ним, пока самолёт заруливал к старту. Когда Кожич, подняв стеклянный колпак, вставал во весь рост, Кайт приходил в неистовство от восторга и с прерывистым визгом так прыгал, что допрыгивал почти до кабины. Сняв шлем, Кожич спускался на землю, и Кайт едва не сбивал его с ног, прыгая и стараясь лизнуть в лицо.

2

Капитан Кожич был так неразлучен с Кайтом, что многие дивились, когда он говорил, что не любит собак.

Но те, которые служили с ним с начала войны, знали, что Кайт вовсе не его собака, а старшего лейтенанта Манькова.

В полку осталось не так много людей, которые видели старшего лейтенанта Манькова, но слышали о нём все. Любо́й, даже самый молоденький лётчик, только вчера прибывший из училища в полк на пополнение, мог бы вам расска-



зять про старшего лейтенанта Манькова и про его последний бой. О капитане Кожиче с уважением говорили:

— Это был лучший друг Манькова!

А между тем трудно было сыскать двух других, таких не схожих людей, как Кожич и Маньков.

Ни в чём не было между ними сходства — ни в наружности, ни в душевном складе, ни в привычках. Кожич был небольшой, смуглый, черноволосый, с маленькими изящными руками. Маньков был грузный, высокий, с волосами цвета соломы, с пухлым красным лицом, с огромными ручищами. Кожич был острослов, едкий и насмешливый, и шуток его многие побаивались. Маньков был добродушен и в разговоре не находчив — тюлень тюленем. Кожич был честолюбив и изо всех сил старался всюду стать первым — в стрельбе, в плавании, в фигурах высшего пилотажа, в шахматах, в бою. Маньков был совершенно равнодушен к славе, и хотя он оказывался по большей части первым, но получалось это у него как-то само собой, без всякого усилия. По правде сказать, и сама дружба Кожича с Маньковым была основана на соперничестве. Кожич во всём старался обогнать Манькова, но это не часто ему удавалось.

До сих пор помнят отчаянные шахматные сражения между Кожичем и Маньковым. Кожич всех обыгрывал в полку, не мог обыграть только Манькова. Когда они играли, все собирались смотреть, — так забавно горячился и сердился Кожич. У Кожича была шумная манера играть, — он обычно вёл себя крайне самоуверенно, расхваливал свои ходы, высмеивал ходы противника и старался запугать его. Но все выходы Кожича разбивались о непобедимое добродушие Манькова. Маньков играл спокойно, молчаливо и точно и этим выводил Кожича из себя. Чувствуя приближение проигрыша, Кожич кричал, что ладья Манькова стоит не на том месте, где ей следует стоять, или что Маньков нарочно посадил его слишком близко к печке, чтобы замутить ему голову, или что из-за темноты в землянке он по ошибке двинул не ту пешку, какую хотел, и поэтому может её теперь не отдавать. Особенно раздражал Кожича в такие минуты мохнатый щенок Манькова, маленький Кайт, вертевшийся под ногами. Кожич уверял, что паршивый щенок этот мешает ему думать, и, проиграв, сваливал на него всю вину.

Вообще Кожич не разделял любви Манькова к разным зверюшкам и презрительно фыркал, когда Маньков показывал ему какого-нибудь подобранного на дороге воронёнка с перебитым крылом или ежа, принесённого из лесу в голубой пилотке, или свою ручную белку. Эта белка до того привыкла к Манькову, что вскакивала на него с разбега, как на ствол дерева, и сидела у него на плече, когда он гулял. Впрочем, с воронёнком, ежом или белкой Кожич ещё готов был примириться: на них действительно любопытно иногда посмотреть, но что нашёл Маньков в своём мохнатом щенке, он никак понять не мог.

Конечно, Кожичу приходилось волей-неволей мириться с постоянным присутствием этого щенка, потому что сам он никогда не расставался с Маньковым, а Маньков никогда не расставался со щенком. Они спали втроём в одной землянке — Кожич, Маньков и Кайт. Они втроём купались в реке возле аэродрома — Кожич, Маньков и Кайт. Они даже обедали втроём — Кожич и Маньков за столом, а Кайт под столом. Однако Кожич никогда не снисходил до того, чтобы погладить Кайта, а Кайт никогда не осмеливался подпрыгнуть и лизнуть Кожича в лицо.

И уж совсем блажью считал Кожич выдумку Манькова — брать Кайта с собой в полёты.

3

Полк работал по уничтожению коммуникаций в немецком тылу. Это была изнурительная работа — по пять-шесть вылетов в сутки, ночью и днём, с кратчайшими промежутками для сна и еды. Прилетишь, вылезешь из кабины, ляжешь в комбинезоне на спину в траву возле самолёта и жадно дышишь, пока оружейники подвешивают новые бомбы. Не успеешь отдышаться, перекурить — и снова полёт, на запад, навстречу огромной багровой вечерней заре, туда, где всё небо рябое от мгновенных звёздочек зенитных разрывов.

Командир эскадрильи был убит, и Кожич стал командиром эскадрильи. Теперь он водил свою эскадрилью в бой, и первый взлетал с аэродрома, и все остальные самолёты пристраивались к нему в воздухе.

Маньков лучше всех держал строй и шёл в воздухе всегда справа от Кожича. Сколько бы раз ни поворачивал Кожич голову вправо, он всегда на одном и том же расстоянии от себя видел самолёт Манькова. Казалось, будто самолёт Манькова висит в воздухе неподвижно.

В тот душный день тучи шли низко, свисая почти до земли. Кругом горели подожжённые немецкой артиллерией леса, и грязный дым висел во влажном воздухе, скрывая все дали. Лучше не было дня для удара по железнодорожному мосту, расположенному в трёхстах километрах позади немецкой армии. Это был самый главный мост для всего фронта немцев. Ни в одном месте не было у них столько зенитных батарей, как у этого моста, — два полка истребительной авиации охраняли его. Удар по мосту можно было нанести только внезапно. Это был самый подходящий день для того, чтобы подкрасться к нему исподтишка.

Эскадрилья поднялась и сразу потонула в тумане. Итти можно было только по приборам, как ночью. Клубы облачного пара, исполинские, медленно движущиеся, полные причудливых пропастей, обступали самолёт Кожича со всех сторон. Кожич часто не видел не только своей эскадрильи, но даже крыльев своего самолёта. В такие минуты им овладевало беспокойство, и он напряжённо ждал, когда муть хоть немного отступит. Он хотел видеть всех своих товарищей, он отвечал за каждого из них. И прежде всего из муты



выплывал самолёт Манькова, который висел справа от него, всегда на том же месте. И радость охватывала Кожича, и, успокоенный, следил он, как в слегка редющей мгле постепенно прояснялись очертания всех остальных самолётов, идущих за ним журавлиным клином.

Так прошли они большую часть пути. Уже до цели оставалось каких-нибудь пятнадцать-двадцать минут полёта, когда Кожич стал замечать, что просторные пропасти между клубящимися громадами облаков наполняются перламутровым светом. Это был свет солнечных лучей, проникавших сквозь тучи, и Кожич понял, что слой туч над землёй редет.

Вдруг тучи кончились, оборвались, и все шесть самолётов эскадрильи неожиданно для себя выскочили на ясный простор голубого неба.

Кожич не ждал такого подвоха и, по правде сказать, в первое мгновение даже растерялся. Пройти почти весь длинный путь скрытно и под самый конец, когда до моста осталось десять минут полёта, оказаться на виду у врага! Но не прятаться же снова в тучу, не возвращаться же, ничего не сделав! И Кожич повёл свою эскадрилью вперёд.

Весь этот район немцы хорошо охраняли и всюду расставили посты наблюдения. В прозрачном воздухе ясного летнего дня советские самолёты были отчётливо видны. Сразу заработали зенитные батареи — и справа и слева.

Гроздья разрывов повисали в воздухе, пачкая небо, но эскадрилья Кожича шла всё вперёд и вперёд. Когда разрывы начинали ложиться слишком близко, Кожич неожиданным рывком швырял свою эскадрилью то в один бок, то в другой, сбивая немецких зенитчиков с прицела и

мешая им попасть. Он не слишком опасался зениток. «Авось, не попадут,—думал он.—Лишь бы подойти к мосту, прежде чем подымутся «Мессершмитты»...

И едва он подумал о «Мессершмиттах», как увидел их. Они шли парами, внезапно возникая в воздухе и стремительно увеличиваясь, и было их сначала две пары, потом четыре, потом шесть. Перед сомкнутым строем советских бомбардировщиков они немного замешкались. Но мост был уже близко, медлить они больше не могли и пошли в атаку — снизу, сзади и сверху.

Начался бой, и бой этот происходил так быстро, что Кожич не успевал следить за ним. Неяркие при солнечном блеске струи пуль скрещивались, потухали и вспыхивали вновь. Его стрелок-радист и его штурман вели огонь из своих пулемётов, и все штурманы и стрелки-радисты эскадрильи вели огонь. «Мессершмитты» тоже вели огонь, и уже дважды слышал он щёлканье пуль по плоскостям своего самолёта. Но он думал только о том, что надо дойти до моста, и уже видел впереди изогнутую ленту реки, сверкавшую на солнце, как никель.

Вот уже один «Мессершмитт», крутясь, переворачиваясь боком через свои крылья, упал и исчез далеко внизу на тёмном фоне лилового леса, а Кожич всё ещё вёл свою эскадрилью, построенную в небе железной подковой. Каждые две секунды он взглядывал на самолёты вправо и влево. И всякий раз прежде всего вправо — на самолёт Манькова.

И вдруг он увидел, как чёрный дым вырвался из самолёта Манькова. Они уже дошли до реки и шли над рекой, отстреливаясь от истребителей. Дым был так густ, что временами окутывал весь самолёт Манькова, как плащом, и скрывал его

из вида. Длинным грязным хвостом тянулся он за ним в пронизанном солнцем воздухе.

Сейчас он упадёт. Но нет, он не падает. Он попрежнему идёт вперёд, этот упорный самолёт, никогда не менявший места в строю, и даже ведёт огонь сквозь дым, окутывающий его. У Кожича сердце сжимается от муки. Вперёд, вперёд! Вот уже отчётливо виден железнодорожный мост через реку, тоненький, как струнка. Надо снижаться, почти немыслимо попасть в мост с такой высоты. Вся эскадрилья идёт на снижение, и самолёт Манькова тоже идёт на снижение, волоча полосу дыма за собой. В пылающем самолёте Маньков летит справа от Кожича, не желая покинуть своего места в строю.

Кожич уже ложился на боевой курс, когда самолёт Манькова выпал наконец из строя. Пылающий в воздухе костёр устремился вниз. Но и пылая и падая, он продолжал идти к мосту. Воля Манькова управляла им до последнего мгновения. Он разбился о мост, и бомбы взорвались, и когда огромный клуб дыма отполз в сторону, Кожич увидел, что моста больше нет.

А как же Кайт? Находился на самолёте Манькова и погиб вместе со своим хозяином во время его последнего подвига?

Так и решил Кожич, когда вернулся на аэродром и не нашёл Кайта у старта. Но техники сказали ему, что Маньков на этот раз не взял Кайта с собою, и Кайт ждал его, пока самолёты не вернулись на аэродром. Когда же он увидел, что на посадку идут не шесть, а пять самолётов и самолёта Манькова нет между ними, он вдруг повернулся и побежал,—побежал прочь, в дальний угол аэродрома, где рос не выкорчёванный ещё ольшаник, и скрылся в кустах.

Четыре дня Кайт не появлялся, и никто его не видел. На пятые сутки ночью Кожич, лёжа в землянке, услышал протяжный вой. Он накинул на себя реглан и вышел из землянки.

В темноте что-то мягкое, тёплое прикоснулось к его ногам.

— Кайт!

Кожич нагнулся и погладил Кайта. Кайт подпрыгнул и лизнул его в лицо, как лизал прежде Манькова.

С тех пор они неразлучны.

МОЙ КАЛЕНДАРЬ

Если мороз надышал
На стекло,
Если от снега
Кустам тяжело,
Если на маме
Пуховая шаль, —
Значит на улице
Месяц февраль.

С крыш и сосулек
Закаплет капель —
Значит на улице
Месяц апрель.
Станет канава
Совсем как река.
Кто не захочет
Играть в моряка?

После апреля —
Первое мая.

Первое мая,
Конечно, я знаю!

Если за дачей
Гуляют ежи,
Если кузнечики
Сначут во ржи,
Если жуки
Пролетают, как пули, —
Это в июне или в июле.

Что же ещё-то
Бывает в году?
В этом году
Я в школу пойду!
Это случится
Со мной в сентябре.
Так и написано в календаре!

Е. ТРУТНЕВА

МАЛЫШАМ

МЯЧИК

Я ужасный непоседа.
Где я только не бывал!
На шкафах
И под буфетом,
В лопухах на даче летом,
У мышей гостил в подвале
И на крыше ночевал,
Угодил в костёр однажды
И в колодце побывал.

И скажу я вам, ребята:
Где, конечно, мокро-вато,
Где — жара,
Где — град и ветер,
Где — темно и тесно...
Но везде, везде
на свете —
Очень интересно!

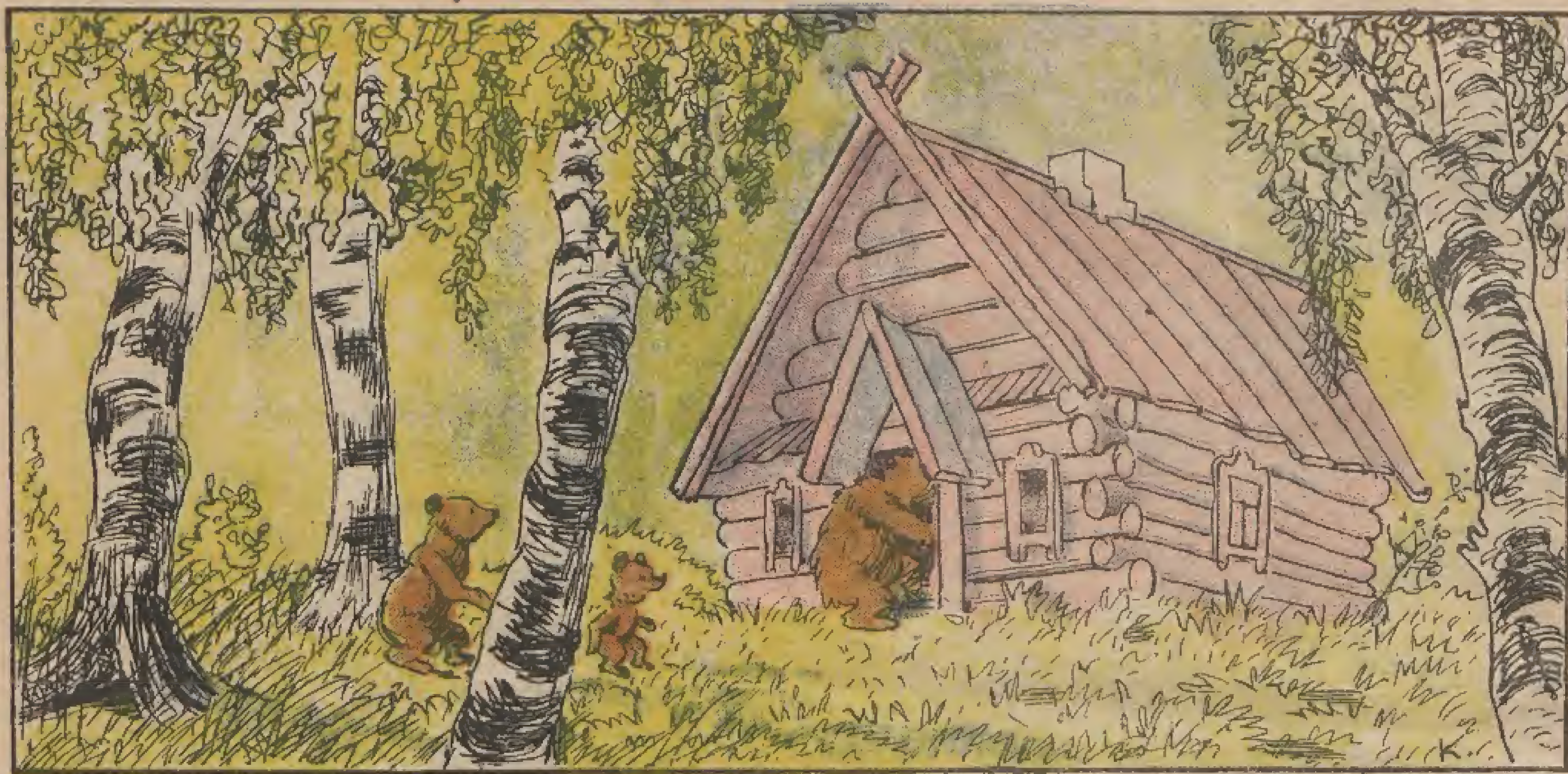


ВОЗДУШНЫЙ ЗМЕЙ

Я подымался в небеса,
Я видел степи и леса,
И пароходы на реке,
И даже море вдалеке!

Под самым солнцем я парил,
И кувыркался,
И шалил;
Играя, тучки обгонял,
Кружился в вышине...

А вы смотрели на меня,
Завидовали мне.



ТРИ МЕДВЕДЯ

Сказка

ЛЕВ ТОЛСТОЙ

Рис. А. КАНЕВСКОГО

Одна девочка ушла из дома в лес. В лесу она заблудилась и стала искать дорогу домой, да не нашла, а пришла в лес к домику.

Дверь была отворена; она посмотрела в дверь, видит—в домике никого нет, и вошла. В домике этом жили три медведя. Один медведь был отец, звали его Михайло Иваныч. Он был большой и лохматый. Другой—была медведица. Она была поменьше, и звали её Настасья Петровна. Третий был маленький медвежонок, и звали его Мишутка. Медведей не было дома—они ушли гулять по лесу.

В домике было две комнаты: одна столовая, другая спальня. Девочка вошла в столовую и увидела на столе три чашки с похлёбкой. Первая чашка, очень большая, была Михайлы Иванычева; вторая чашка, поменьше, была Настасьи Петровны; третья, синенькая чашечка, была Мишуткина. Подле каждой чашки лежала

ложка: большая, средняя и маленькая.

Девочка взяла самую большую ложку и похлебала из самой большой чашки; потом взяла среднюю ложку и похлебала из средней чашки; потом взяла маленькую ложку и похлебала из синенькой чашечки, и Мишуткина похлёбка ей показалась лучше всех.

Девочка захотела сесть и видит у стола три стула: один большой—Михайлы Иванычев, другой поменьше—Настасьи Петровны; и третий, маленький, с синенькой подушечкой,—Мишуткин. Она полезла на большой стул и упала; потом села на средний стул—на нём было неловко; потом села на маленький стульчик и засмеялась—так было хорошо. Она взяла синенькую чашечку на колени и стала есть. Поела всю похлёбку и стала качаться на стуле.

Стульчик проломился, и она упала на пол. Она встала, подняла стульчик и пошла в другую горницу. Там стояли три

кровати: одна большая—Михайлы Ивановича, другая средняя—Настасьи Петровны, третья маленькая—Мишенькина. Девочка легла в большую—было слишком просторно; легла в среднюю—было слишком высоко; легла в маленькую—кроватька пришлась ей как раз впору, и она заснула.

А медведи пришли домой голодные и захотели обедать. Большой медведь взял свою чашку, взглянул и заревел страшным голосом:

— Кто хлебал в моей чашке?

Настасья Петровна посмотрела свою чашку и зарычала не так громко:

— Кто хлебал в моей чашке?

А Мишутка увидел свою пустую чашку и запищал тонким голосом:

— Кто хлебал в моей чашке и всё выхлебал?

Михайло Иванович взглянул на свой стул и зарычал страшным голосом:

— Кто сидел на моём стуле и сдвинул его с места?

Настасья Петровна взглянула на свой стул и зарычала не так громко:

— Кто сидел на моём стуле и сдвинул его с места?

Мишутка взглянул на свой сломанный стульчик и пропищал:

— Кто сидел на моём стуле и сломал его?

Медведи пришли в другую горницу.

— Кто ложился на мою постель и смял её?—заревел Михайло Иванович страшным голосом.

— Кто ложился на мою постель и смял её?—зарычала Настасья Петровна не так громко.

А Мишенька подставил скамеечку, полез в свою кроватку и запищал тонким голосом:

— Кто ложился на мою постель?

И вдруг он увидел девочку и завизжал так, как будто его режут.

Он хотел её укусить. Девочка открыла глаза, увидела медведей и бросилась к окну. Оно было открыто, она выскочила в окно и убежала. И медведи не догнали её.



И В А Н А Н Д Р Е Е

Рис. В. КОНАШЕВИЧА.

Стрелкоза

Мартышка и Очки

1768

Лисица и Виноград

Папан
И.А. Крылов
в Липовом саду

Лягуш

Слон и Л

Здесь нарисованы картинки к басням великого русского баснописца Ивана Андреевича Крылова. Таких басен Крылов написал больше двухсот. Каждая из них осмеивает какой-нибудь недостаток человека, да так метко, что люди, прочитав басню Крылова, сейчас же находят эти пороки или у окружающих, или даже у самих себя.

Написаны басни Крылова точным, сжатым народным языком. Много выражений из его басен превратились у нас в пословицы. Поэтому, когда кто-нибудь хочет осудить какой-нибудь промах

или недостаток человека, он прямо так и говорит словами Крылова: «Видит око, да зуб неймёт», «Недаром говорится, что дело мастера боится», «Слона-то я и не приметил».

В И Ч К Р Ы Л О В



1 8 4 4

захватить русскую землю. Русский народ уничтожил войска Наполеона. Вот и попался Наполеон в ловушку, как волк в басне Крылова.

Басни Крылова помогали нашему народу быть лучше, помогали бороться со многими недостатками. За это народ всегда очень любил Крылова и через десять лет после его смерти поставил ему в Ленинграде, в Летнем саду, па-

Много у Крылова басен, в которых он показывает силу русского народа. Например, в басне «Волк на псарне» он высмеял французского императора Наполеона, который в 1812 году хотел

мятник. Всегда очень любили Крылова дети. Они так и называли его: «дедушка Крылов». Поэтому и памятник-то дедушке Крылову поставлен в Летнем саду, где гуляет много детей.



ЛЕСНАЯ ГАЗЕТА

Год издания 21-й

№ 2 (6)

Редактор — Вит. БИАНКИ

МЕСЯЦ СТАЙ

Издатель — «МУРЗИЛКА»

СОДЕРЖАНИЕ: В СТАЕ. — Малышей нет — все подросли. — Внимание! — Ночной налёт. — Безголовые, да не бестолковые. — ЖЁЛТЫЙ, БЕЛЫЙ И ЛИЛОВЫЙ. (Сказка.)
ТЕЛЕГРАММЫ: Из сибирской тайги. — С севера, из тундры. — Из-под Москвы. — С юга. — ОСТРОГЛАЗ. Кто летит? — Звери на войне. (От нашего военного корреспондента.)

В СТАЕ

Катится, катится в небе золотое колесо — и меняется вид из окна. Был лес зелёный, густой. Теперь с каждым днём желтеет лист на деревьях, кой-где буреет, кой-где краснеет. И уже начинают просвечивать верхушки лип, осин, берёз. Лес редее.

Но не смотри на него через окно. Выйди в

МАЛЫШЕЙ НЕТ — ВСЕ ПОДРОСЛИ

Каждая пара птиц привела в стаю своих детей. Птенцов уже не узнаешь: они сменили свои детские летние пёрышки на взрослый наряд. С виду большие. А ума ещё не набрались: ещё им надо учиться да учиться: где еду себе промыслить, как от врагов прятаться. Ученье у них простое, обезьянье: смотри, что делают старшие, и сам делай так же.

Солнце клонится к закату. На тихом озере от него побежала золотая дорожка. Добежала до прибрежных камышей. Там, за камышовым лесом, в заводинке, как на полянке, стая кряковых уток. Утиная молодёжь снуёт между высоких кочек, нетерпенье разбирает её. Ей хочется двинуться, подняться на крыло, лететь куда-нибудь скорей. А нельзя: старшие спокойно сидят, молчат, — значит, ещё не время.

Вот старый селезень весь вытянулся, поднял голову. Тихонько крякнул.

лес, в поле. Спешит: того, что ты можешь увидеть сегодня, уже не будет завтра.

Прислушайся: кузнечики-кобылки уже перестали стрекотать. Исчезают куда-то бабочки, мухи, жуки. Смотри: над голыми полями полетели серебряные паутинки. И птицы собрались в стаю.

ВНИМАНИЕ!

Нет, это не сигнал лететь. Над берегом показалась большая коричневая птица. Бесшумно, как сова, плывёт она над камышами. Зорко оглядывает озеро.

Это камышовый лунь. Круглолицый, длинноногий хищник. Большой любитель нежной молодой утятинки.

По сигналу старого селезня все утки живо сплываются в кучку. На дружную стаю никогда не решится напасть длинноногий разбойник.

Прошла его пора, когда он хватал маленьких глупых утят из-под носа у матери-крякуши. При внезапном его появлении они с перепугу бросались кто куда, и мать не могла их защитить всех сразу.

Лунь, досадливо косясь на плотную утиную стаю в заводинке, пролетает мимо. Это его последний, вечерний облёт озера. Теперь он отправится спать.



НОЧНОЙ НАЛЁТ

Селезень сорвался с воды, дал медленный круг над камышами и вдруг, свистя крыльями, помчался к берегу.

С полей ушли люди. Днём они собрали ячмень в бабки.

БЕЗГОЛОВЫЕ, ДА НЕ БЕСТОЛКОВЫЕ

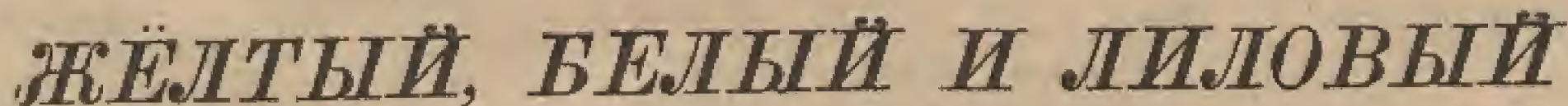
порядок свои перья: каждое надо поправить, пригладить носом и смазать жирком из маслянки над хлупом, чтобы стекала с тугого оперения вода. И тогда, усталые, сытые, заснули: кто на кочке, кто прямо на воде, близко друг от друга. Одна только молодая утка в сторонке.

Вот случай поживиться утятинкой! И разбойник легко, как огромная бабочка, помчался к спящей стае.

Пропала неосторожная утка, даже не успев выпростать из-под крыла сонную свою голову.

Уже не увидишь того, что видел летом. Зато неожиданно спугнёшь с ямы, полной воды, дикую утку, в саду у себя — рыжую, с голубой эмалью на крыле птицу лесных чащ — ронжу, и там, где меньше всего ожидаешь, — даже в городе, над железными крышами высоких каменных домов, — увидишь стаю диких гусей или медленно, не шевеля крыльями, тянущих один за другим величавых орлов.

Нина Михайловна Павлова — известный ботаник, то есть ученый, изучающий растения. В этом номере мы помещаем её сказку про шустрю кобылку (кузнечика) и скучного навозного жука.



Был такой хороший весенний день, что даже навозному жуку захотелось приподнять свои пыльные крылья и полететь. И, увидев попрыгунью-кобылку, он спросил, где она живёт.

— На весёлом жёлтом лу-
гу, — сказала кобылка. — Там
цветут сурепка и свербига,
одуванчики и лютики. Как бле-
стят лепестки у лютика! В них
видишь мордочку другой ко-
былки. Знаешь, как это бывает,
когда глядишь в воду.

— Я прилечу к тебе и посмотрю,—сказал навозный жук.

И он стал собираться. Но по привычке всё копался и копался. И прокопался очень

долго. А когда полетел, то не нашёл жёлтого луга. И при встрече пожаловался кобылке.

— Ах,— сказала кобылка,— да ведь луг-то теперь не жёлтый, а белый. Там цветут тмин и ромашка, дрёма и подмаренник. Какие мелкие цветочки у подмаренника! Заберёшься между ними—и точно облачко вокруг тебя. А как пахнет!

— Я прилечу к тебе и понюхаю, — сказал навозный жук.

И он стал собираться. Но по привычке всё копался и копался. И прокопался очень долго. А когда полетел, то не нашёл белого луга. И при встрече пожаловался кобылке.

— Ах,—сказала кобылка,— да ведь луг-то теперь не белый, а лиловый! Там цветут колокольчики и скабиоза, полевая герань и мышиный горошек. Какие забавные усики у мышиного горошка! Он цепляется ими за травинки. И на нём так славнo качаться!

— Качайся на здоровье! — сказал навозный жук. — А я больше туда не полечу. Уж не расцветут ли там завтра чёрные цветы? Нет, я предпочитаю свою родную дорогу. Навоз — всегда навоз. И пыль — всегда пыль. А серый цвет для глаз всего приятнее.

15

ТЕЛЕГРАММЫ С РАЗНЫХ КОНЦОВ НАШЕЙ СТРАНЫ

ИЗ СИБИРСКОЙ ТАЙГИ

Поспели кедровые орешки. Они жирные, очень вкусные и сытные. Они сидят в толстых шишках, высоко на кедрах.



У кого крепкий, длинный нос или передние зубы — все кинулись вышелушивать орешки из шишек: крапчатые таёжные вороны-кедровки, белки, бурндуки, даже хищные соболи. А на земле расправляются с упавшими шишками мыши и медведи. В тайге — пир горой.

С СЕВЕРА, ИЗ ТУНДРЫ

Стаи перелётных тронулись в путь. Ждите. Кулики придут к вам первыми.

ИЗ-ПОД МОСКВЫ

И у нас пир: поспела рябина. Оранжево-красные гроздья издали бросаются в глаза. Теперь дрозды, снегири и другие

птицы не успокоятся, пока не склюют всех ягод.

С ЮГА

Поспела мамалыга (кукуруза). На ночь приходится посылать в поля сторожей с ружьями: с гор спускаются стада диких свиней (кабанов) и гра-



бят поля. Стрелять сторожам приходится или в воздух, или уж наверняка: раненые свиньи очень опасны, особенно секачи — самцы с прямыми острыми клыками.

ОСТРОГЛАЗ

КТО ЛЕТИТ?

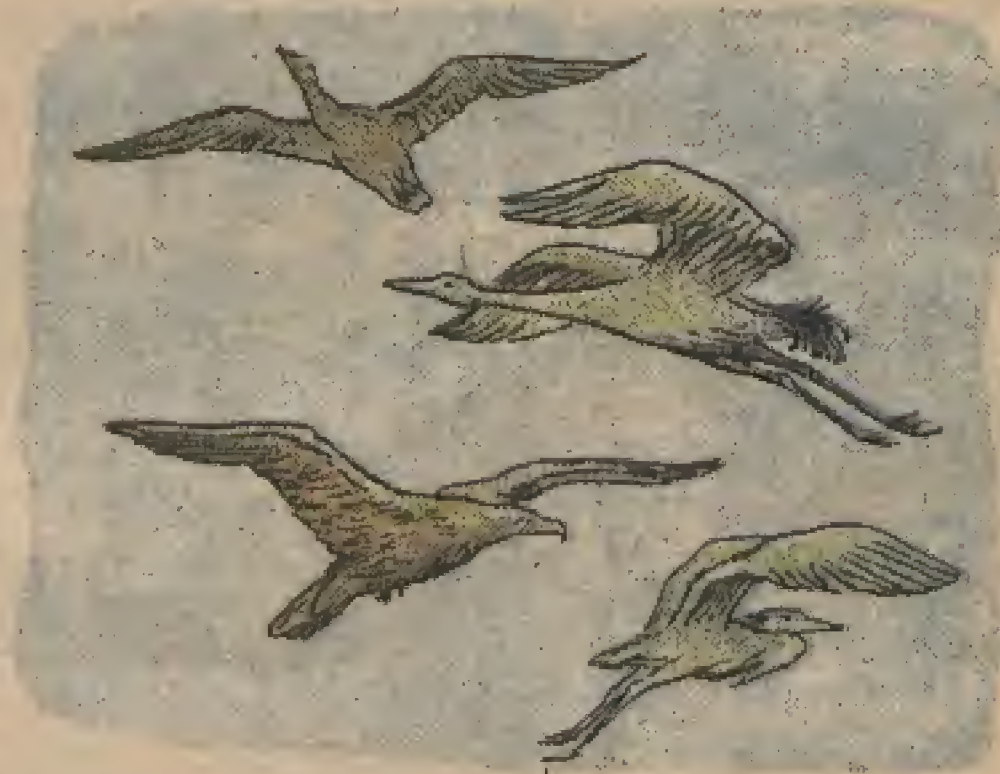
— Курлы! Курлы! — тронулись в далёкий путь за Средиземное море журавли.

По голосу их сразу узнаешь. А если молчат — не спутай с другими большими птицами.

Внизу нарисованы журавль, цапля, дикий гусь, орел.

Заметь, какие у каждого ноги, шея и хвост.

По этим приметам узнаешь их в полёте.



Журавль



Цапля



Дикий гусь



Орел

ЗВЕРИ НА ВОЙНЕ

От нашего военного корреспондента



Тот, кто думает, что диких лесных, степных или морских зверей не касаются человеческие дела, тот очень ошибается.

Конечно, домашние животные прочнее привязаны к людям: их всё, что происходит с человеком, задевает особенно сильно. Лошади и собаки — те прямо-таки воют вместе с человеком. Коров и овец, пасущихся на поле, вражеские самолёты часто обстреливают и бомбят так же усердно, как и людей. Мелкие зверьки — кошки, кролики, домашние птицы — гибнут от голода, бомбардировок, обстрелов.

Кроме того, есть дикие животные и птицы, которые все-

гда живут только при людях: домашние крысы и мыши, домашние воробьи, городские и деревенские ласточки, стрижи, аисты. В лесу всей этой мелочи не увидишь: она всегда тянется к человеку, и во время войны ей достаётся так же, как и ему. Но теперешняя война шагает по земле так широко и далеко, захватывает такие огромные расстояния, ревет и грохочет в таких различных местах, городских и деревенских, что даже самым диким из диких зверей приходится сплошь и рядом испытывать на себе её удары.

Звери, конечно, не понимают, что происходит вокруг них. Те из них, которые попроще, не

желают обращать на неожиданные события никакого внимания, продолжают жить по-старому. Им, конечно, скоро приходится очень плохо. Другие же, что похитрее, пытаются как-то приспособиться к военному времени, — то ли, так сказать, эвакуироваться в более спокойные места, то ли научиться оберегать себя и тут, на фронте. Не всегда это им удаётся. Чаще получают различные недоразумения, порою смешные, иногда же грустные.

Вот я и хочу рассказать вам несколько случаев со зверями на войне, которые я сам наблюдал на фронте под Ленинградом.

СЛЕПЫЕ САПЕРЫ

Под Ленинградом, как и везде на передовых, и мы и немцы ставили на земле множество мин. В первые годы войны это начали делать осенью. Зимой мины стояли в общем довольно спокойно. Но когда пришла весна, на минных полях начали происходить непонятные взрывы. Никто не идёт по полю, а мины взрываются то там, то сям. Что за история?

Сначала все мы очень недоумевали: в чём дело? А потом тайна разъяснилась. Это кроты с первыми тёплыми днями (без всякого, конечно, разрешения от военного начальства) начали производить свои кротинные окопные работы. Встретив закрытую в землю небольшую ми-

ну на своём пути, крот сердился, начинал толкать её спиной, двигать... Раздавался громкий взрыв, и несчастный пушистый сапёр погибал. Настоящие сапёры, люди, очень жалели бывало своих четвероногих товарищей по земляной работе, но помочь им ничем не могли.

НОС — МИНОИСКАТЕЛЬ

Совершенно иначе обращались с минами более хитрые и разумные крупные звери: лисы, волки, лоси. В одном месте фронт у нас проходил поперек большого и богатого лесного заповедника, где всякой дичи было видимо-невидимо.

Так вот, один разведчик говорил мне, что он ходит тут

по лесу между нашими и вражескими позициями, внимательно приглядываясь к звериным и особенно к лисьим следам. «Ни разу я не видел, — рассказывал он, — чтобы Патрикеевна на мину наскочила. Близко подойдёт, вот-вот, кажется, дотронется, а нет!.. Постоит, понюхает, подумает и обойдёт аккуратно сторонкой. И по её следу я уже спокойно иду. Хотел бы, чтобы у меня в носу был такой отличный миноискатель...»

Зайцам, бедным, тем приходилось хуже. Ковыляя потихоньку по полю и по лесу, ко-сой ещё кое-как умудрялся миновать обычные мины. Но стоило где-нибудь неподалёку грохнуть выстрелу или разрыву (а на фронте без этого минута



не пройдёт), как несчастный зверь, дав полный ход, летел, не разбирая дороги. Чаще всего он наткался мордочкой на проволоку натяжных мин. Такая проволока довольно тонка, издали её не заметишь. А вблизи заяц совсем ничего перед собой не видит, недаром же он — косой. И обычно дело кончалось для него плохо...

Лось, зверь чуткий и осторожный, по большей части вёл себя очень осмотрительно. Но он тоже пуглив и так же, как заяц, при внезапном шуме кидается по лесу, куда глаза глядят.

И вот однажды в одной из наших морских частей произошла такая история.

Ночью кок (повар), спавший у себя в камбузе (камбуз — по-флотски кухня), услышал какой-то шум за дверью, но поленился встать. Утром же он вышел на улицу и ахнул: у самого камбуза лежал полумёртвый огромный лось с перебитыми взрывом мины ногами. Очевидно, не понимая, что с ним стряслось, бедняга приполз умереть сюда, в знакомую чащу, а тут теперь засели моряки. Выбежали все. Лося осмотрели, позвали даже врача, чтобы он сказал, нельзя ли его как-нибудь вылечить. Но врач признал дело его безнадежным. Тогда решили облегчить мучения рогатого раненого и пристрелили его. Целую неделю потом весь батальон ел мясо лося и благословлял его: это

дело было в голодную зиму 1941/42 года в жестокой блокаде Ленинграда. Мясо очень пригодилось.



О ПТИЦАХ

Через те места, где я служил на фронте, испокон веков проходил великий птичий перелётный маршрут. Здесь из года в год собирались десятки и сотни тысяч всякой водяной птицы: лебеди, утки, гуси, гагары, бакланы — неведомо кто! Не-

даром даже одно из местечек здесь носит название «Лебяжье». Ещё осенью 1941 года смельчаки из птичьего царства опускались здесь для отдыха.

Но год спустя птицы, очевидно, перенесли свою «трассу» на какое-то другое направление. Да это и неудивительно.

Нечего уже говорить о шуме, о постоянной стрельбе, о взрывах морских мин в заливе, который мог испугать птиц. Нет, тут им грозили худшие и более коварные опасности.

Вот идёт где-то по морю немецкий или финский танкер, везёт груз нефти, керосина или мазута. А наша подводная лодка взрывает вражеский корабль. Судно тонет, лодка уходит, а керосин или нефть, вылившись из разбитых цистерн, тонким слоем растекается по воде на огромное пространство. Так же разливается и смазочное масло. Птица не может сверху разобрать, что случилось на море. Она доверчиво садится на воду, и вдруг вся замасливается нефтью. В страхе и с отвращением она начинает полоскаться, брызгаться, чтобы отмыть эту грязь, но пачкается ещё более. Перья её слипаются, лететь нельзя. Масло склеивает ей глаза. Птица (особенно, если она умеет нырять) слепнет и гибнет. Часто на берегу моря приходится теперь подбирать грязных, жалких, слепых и беспомощных морских жителей.

Лев Успенский





ПИМЕН В ШКОЛЕ

ЛЕВ УСПЕНСКИЙ

Рис. Д. МООРА

Сейчас 1944 год. Сегодня в первый раз в школу идете вы, потому что вы родились в 1937 году. А тогда в школу впервые должен был явиться я. Я родился в 1900 году. Значит, год тогда был 1907-й. Я очень волновался.

Да, год был девятьсот седьмой, а Пимена мне подарили в девятьсот шестом, летом. У него было слегка повреждено крыло; летать, как летают другие вороны, он не мог. Но перелётывал он великолепно: отсюда—туда, оттуда—ещё дальше, и в общем—куда угодно. Кроме того, он превосходно говорил.

Да, да, говорил он недурно, но учил-то его не я, и я даже не знаю, кто; поэтому за его разговоры ручаться было невозможно.

Стоило кому-нибудь громко закричать, особенно если голос высокий, тонкий, и Пимен немедленно отзывался: «Бррреши, брреши! — презрительно говорил он. — Вранье! Неправда!»

Увидев меня, он обычно радостно кричал: «Юрра! Драстуй!», а в дурном настроении, в задумчивости неопределённо бормотал про себя: «Ах, чоррт! Здоррово!»

Кроме того, очень часто, неведомо почему, он иногда начинал ни с того, ни с сего твердить какое-нибудь очень понравившееся ему новое слово или звук и при этом хохотать самым непочтительным образом. Вообще же он был лучше всякого попугая.

Мало этого, попугай сидит в клетке, а Пимен летал за мной всюду: в поле, в лес—куда угодно. И удержать его дома, если я ушёл, было очень не легко: улучит минутку, спрыгнет в форточку или в дверь, мгновенно отыщет меня и уже орёт откуда-нибудь: «Юрра! Юрра! Драстуй!» Так было в деревне, а осенью я его привёз с собой в Питер. Так называли тогда Ленинград. Пимен и в Питере зажил отлично; быстро привык к городу и поражал народ на улицах, сидя у меня на плече или перелётывая с подъезда на подъезд, со столба на столб, всюду за мною с дикими воплями: «Не бррреши! Вранье! Неправда!»

Да, кстати, почему его прозвали «Пименом». Потому, что, когда он, чёрный, большой, сидел бывало в задумчивости, прикрыв глаза, на краю стола после обеда,

он очень был похож сбоку на монаха Пимена, который пишет летопись в пьесе Пушкина «Борис Годунов».

В понедельник, двадцать восьмого августа, мама взяла меня за руку и повела на экзамен в школу. И она и я ужасно волновались и даже не взглянули на Пимена, который в это время смотрел с любопытством, как плавают золотые рыбки в аквариуме.

Мы пришли в школу во-время, и скоро я уже сидел в большом классе, где окна были широко открыты, и солнце бегало по стриженным головам двух десятков семилетних молодцов. Пришёл учитель Андрей Андреевич, сел за столик, поздоровался с нами и вызвал к доске первого, Алексева. У нас у всех душа ушла в пятки.

Однако дело оказалось не таким страшным, как мы думали. Всё шло отлично. Андрей Андреевич гладил ребят по голове, успокаивал и, как бы они ни отвечали, говорил с видимым удовольствием: «Хорошо, хорошо! Прекрасно». Но всё же мы все сидели молча, в испуге и во всём мире видели только чёрную доску, губку и мелок на ней да остренькую беленькую бородку учителя. Вот почему то, что слу-

чилось, поразило нас, как гром при ясном небе.

Андрей Андреевич спросил уже Баранова, Бутакова, Вахтина, Вырубова. Дело дошло до Генкина. Генкин, толстый мальчик в матросском воротничке, покраснел, как кумач. Андрей Андреевич узнал, что он умеет читать наизусть стихотворение «Птичка божия не знает», и велел прочитывать его. Взволнованным, очень тонким голосом Генкин громко начал:

Птичка божия не знает

Ни заботы, ни труда... —

и вдруг вздрогнул, остановился.

— Брреши, брреши, брррат, — насмешливо сказала большая чёрная «птичка божия», сев на подоконник и заглядывая в класс. — Врранье! Непрравда! — И потом стала непринуждённо чистить о раму здоровенный свой роговой нос, очень, повидимому, довольная обществом.

Некоторое время в классе царствовала тишина. Все смотрели на окно, в том числе и Андрей Андреевич. Потом он поднял брови, снял строгие очки, и лицо его стало таким милым, смешным, удивлённым.

— Вот так фунт, дети! — сказал он. — Что же это обозначает такое?



Я сидел ни жив ни мёртв... Я знал, что это обозначает, но смел ли я об этом сказать? А вдруг меня сразу «поставят на колени на горох» в наказание, как пугала меня в деревне бабушка!

Но мне ничего не пришлось говорить. Мерзкий Пимен внезапно увидел меня.

— Юрра! Юрра! Драстуй!—заорал он, перелетел на мою парту и затрепыхал крыльями, как воронёнок, который просит есть. Это означало: «Я очень люблю тебя, мой милый!»

— Гм!—произнёс тогда Андрей Андреевич, надевая пенсне. — Ты — Юра? Это твоя «птичка божия»?

— Это—Пимен!—с отчаянием сказал я.—Я его не звал сюда. Он сам, значит, догнал меня и нашёл...

— Ну и что же? Нашёл, так и отлично. Он—Пимен? Вот удивительно... Но это ничего, это хорошо, очень хорошо, прекрасно! Ты, видимо, строгий учитель, Пимен. Давай вместе детей экзаменовывать.

Если я проживу ещё сто лет, второго такого экзамена я не увижу.

Андрей Андреевич сидел, вытянув длинные ноги, за столиком, а Пимен перед ним на столе, возле графина, гранёная пробка которого сверкала всеми цветами радуги в солнечном луче.

Ребята один за другим с восторгом выходили к доске и, отвечая, ужасно старались, но всё больше косились на Пимена: было страшно интересно, что же он скажет?

Пимен же разошёлся.

Тому мальчику, который быстро подсчитал, что шестью семь равно сорока двум, он опять закричал: «Врранье! Непрравда!»

Боря Курдиновский пленил его, пронзительно скрипнув мелом, когда стал писать на доске слово «крокодил». Пимен натопорщился, встряхнулся и, как бы про себя, с восхищением отметил: «Ах, чоррт, здорово!» И сейчас же сам скрипнул точь-в-точь, как мел, удивительно похоже.

Потом он задумался, стал прислушиваться к словам Андрея Андреевича и вдруг под самый конец экзамена, когда отвечал не то Яблочков, не то Януш, произнёс одобрительно, точным голосом учителя: «Хоррошо, хоррошо, прекррасно!» Хохот в классе поднялся невообразимый, и Андрей Андреевич погрозил Пимену пальцем.

Все мы сдали экзамен. Всех нас приняли в школу.

Я шёл домой, и половина учеников бежала за мной, ранцы за плечами, книгоноски в руках. Они шли потому, что меня сопровождал Пимен. Он то сидел на моём плече, то вдруг, срываясь, летел на дерево, перегнувшееся через забор, или на балкон где-нибудь на шестом этаже дома. Ему, видимо, нравилось внимание, с которым к нему относились.

И, греясь в тёплых лучах осеннего солнышка, он то и дело повторял у меня над ухом полюбившиеся ему новые слова: «Хоррошо, хоррошо, прекррасно!»

Мы все были согласны с ним: Очень хорошо семи лет от роду поступить в школу.



ПОЖАЛУЙТЕ К ДОСКЕ!

ЛИСТОПАД

Наступил сентябрь. Лист за листом падает с деревьев. Всё больше голых корявых сучьев, всё меньше густой тени, милого шороха вверху... Могучие дубы, пышные липы, белоствольные берёзы стали такими жалкими...

А вот ёлки, сосны, пихты, можжевельник — те зеленеют, как летом, точно и осени никакой нет. Почему такая несправедливость?

А на самом деле: как вы думаете, почему это так? Почему одни деревья каждый год теряют свой пышный летний убор, а другие и не ду-

мают? Что случилось бы, если бы липы и дубы тоже остались на зиму с листьями?

Не торопитесь, друзья мои, отвечать на этот вопрос сразу. Прежде хорошенько подумайте. Представьте себе ясно такую картину: зимний день, серое небо... Валит крупными хлопьями тяжелый обильный снег. А все деревья покрыты листвой... Хорошо бы им было или плохо?

Вы думаете — плохо? А почему? И отчего же ёлки и сосны не боятся никакой беды? Вот раскиньте умом и ответьте. Про того, кто сообразит правильно, придётся сказать: «О, это мудрец!»

БАОБАБ

Впрочем, вот вам ещё одно удивительное дерево. Оно называется «баобаб» и растёт в жаркой Африке.

Баобаб среди деревьев — то же, что бегемот в кругу зверей: он не так высок, как длинен и толст.

Если такое дерево спилить, то на пне можно без труда рассадить в порядке весь ваш класс, и тесно не будет.

В дуплах баобабов нередко негры устраивают охотничьи хижины-шалашы. Баобаб сначала цветёт огромными душистыми белыми цветами, а затем с его ветвей свешиваются продолговатые плоды, вроде огромных огурцов или небольших дынь. Их очень любят есть слоны.

Но удивительно не это.

Зимы в Африке нет, снега тоже. А листья баобаба всё же роняет — в самом начале жаркого африканского лета.

И, надо сказать, это очень хорошо, потому что летом там

невыносимо жарко. Стоит страшная сушь. Если бы листья оставались на ветвях дерева, их опалило бы солнечным зноем. Солнце выпило бы через них весь сок дерева, и баобаб засох бы.

А без листьев он точно засыпает на жаркое время и пробуждается лишь, тёплой осенью, когда начинает литься на землю шумный африканский дождь.



А ВЕДЬ ТЫ НЕ ЗНАЕШЬ...



Как называется этот страшный зверь?



Почему луна – тётя, а месяц – дяденька?



Что делают эти люди?

Сколько замечательных вещей на свете! И обо всем ты узнаешь, если сейчас будешь хорошо учиться.
Нет ничего интереснее ученья. За дело же, друзья мои!

ПОМОГИ ВСПОМНИТЬ

Выручите! Со мною случилась беда.

Когда я в первый раз пришёл в школу (а было это давно, очень давно), учитель прочитал нам прекрасное стихотворение. Оно называлось «Осень», и на дворе в то время была тоже осень. Это меня поразило. Я запомнил стихи. Но в тот день, в первый школьный день, со мной случилось так много интересного, так много замечательного... Так ведь и всегда бывает в школе.

И вот, когда теперь, много лет спустя, я захотел прочитать те же самые стихи, я с ужасом увидел, что забыл последние слова строчек. Всё помню, а эти слова вылетели из головы. Вот что в ней осталось:

Осень. Осыпается весь наш бедный... (Лес? Луг? Сад? Дом? Куст?)

Листья пожелтые по ветру... (Мчатся? Летят? Несутся? Кружатся?)

Лишь вдали красуются там, на дне... (Оврагов? Ущелий? Долин?)

Кисти ярко-красные вянущих... (Кленов? Берез? Рябин? Черемух?)

Вот я написал эти стихи, а слова, которые придумал, поставил в скобках. Но те ли это, настоящие слова? С некоторыми из них не получается ни складу, ни ладу.

Помогите же мне вспомнить эти слова и скажите, кто написал это стихотворение.

Иван Водосович

Текст Евг. ШВАРЦА

Рис. А. КАНЕВСКОГО

Ты прочитал у нас в журнале сказку «Три медведя»?
Ну, а теперь слушай, что было дальше.



Идёт однажды Маша в школу, и вдруг Топтыжка ей навстречу. «Поддай твою сумку! — ревёт. — В ней, наверное, спрятан мёд». Маша ему вежливо отвечает: «Здравствуй, Топтыжка! Мёд в сумке не носят. Там книжки



лежат, не подходящие для медвежат. Смотри!» Понюхал Топтыжка арифметику — не понравилось. Понюхал грамматику — откусил кусочек. И вдруг увидел он книжку «Три медведя».



Читать он не умел, но по картинкам всё понял. — «А! — говорит. — О! — говорит. — У! Узнаю! Вот кто скушал полёбку мою! Плачь! я тебя съем!» А Маша ему вежливо отвечает: «Ты меня, Топтыжка, не кушай, ты меня лучше



послушай. Со мной подружки очень дружат. Дадут за меня мёду целую колоду. Идём к нам в класс». И пошел Топтыжка с Машей в школу. А что было дальше — узнаешь в следующем номере.

На обложке рисунок М. Бутровой «Первый день в школе».

Год издания двадцать первый

Цена 2 руб.

Изд-во ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия»

Редколлегия: А. П. БАБУШКИНА (отв. редактор), Т. Я. КАРПИНСКАЯ, Л. М. КВИТКО, В. В. ЛЕБЕДЕВ, М. Н. СКАТКИН, К. А. ФЕДИН. Художественный редактор С. М. АЛЯНСКИЙ.
Адрес редакции: Москва, Новая площадь, 6. Тел. К-О-48-23. Подписано к печати 21/VIII 1944 г. Л74607. Объем 3 печ. л., 3 уч.-изд. л. 32 000 экз. в печ. л. Тираж 100 000 экз. Заказ 328.

3-я типография «Красный пролетарий» треста «Полиграфкинг» Огиза при СНК РСФСР. Москва, Краснопролетарская, 16.